

Вадим Ярмолинец

Из Америки об Одессе

Два сюжета

На праздничный завтрак мать подавала оладьи со сметаной и перетертой с сахаром черной смородиной. В доме пахло подгоревшим на сковороде маслом и какао. Отец доставал из шкафа черный пиджак с тремя медалями на черно-оранжевых колодках с левой стороны и знаком «Гвардия» и орденом Красной Звезды – с правой. С годами пиджак потерял форму, габардин местами лоснился, но отец все равно выглядел молодцом – роста невысокого, но осанка и сложение спортивные.

По Садовой мы выходили на Дерибасовскую. Хлопали на ветерке красные флаги, вздувались натянутые над мостовой транспаранты «Народу-победителю – слава!». В беседке Городского сада играл военный оркестр, и Левитан торжественно перечислял наши победы из развешанных на столбах рупоров. Женщины несли букеты гвоздик: красных, белых, розовых. Военная техника двигалась по Пушкинской. Брусчатка под ногами подрагивала, огромные бэтээры грозно рычали, рвали с места, стреляли черным дымом, снова останавливались.

Больше других отец ценил знак «Гвардия», а мне нравился его орден – звезда с темно-красной эмалью в серебряной окантовке приятно тяжелила руку. В середине был изображен солдат в буденовке с винтовкой в руках. Он словно замер в ожидании врага. На штифт сзади надевалась круглая гайка с тремя выпуклостями – чтобы упирать пальцы. Номер ордена был, кажется, нанесен вручную.

Как-то, перебирая оставленную отцом библиотеку, я нашел в мемуарах маршала Мерецкова сложенный вчетверо ветхий листок. Это было отпечатанное под фиолетовую копирку представление отца к награде, где подробно описывался случай его героизма. Он произвел на меня двойственное впечатление.

«Обходя расположение своего подразделения, прибывшего на линию фронта для выполнения важного боевого задания, старшина взвода гвардейских минометов (мой отец) столкнулся с двумя подозрительными личностями. Один, оказав сопротивление, был уничтожен, второй задержан и передан сотрудникам Смерша. Это позволило взводу оперативно ликвидировать укрепсооружение противника и выполнить важное стратегическое задание».

Кто был этот уничтоженный, кем оказался задержанный – в документе не говорилось. Даже непонятно, были ли это немцы.

У мамы, родившейся и выросшей в волжском Ставрополе, было трое братьев. Любимым был младший – Василий. Задира и драчун, он взял на себя роль ее защитника. Мальчишки боялись к ней подходить.

В 10-м классе Василий получил водительские права – как раз к началу войны. Он возил какую-то шишку, и мать была счастлива, что хоть младший сын не попал на фронт. От старшего – Ивана – вестей не было, Павла, работавшего до войны матросом на нефтеналивной барже, призвали во флот, и он находился в Севастополе. В январе 42-го Василия арестовали в Москве – во время затемнения он ехал с включенными фарами. В штрафной роте он встретил старлея Ремнева – тертого мужика лет сорока. «Они были не разлей вода, – рассказывала мне мать. – Куда один – туда другой. Он называл его Ремень». Уцелев в штрафниках, оба попали в разведку Второго Волховского фронта.

В конце февраля 43-го их взвод принимал участие в операции по выводу из оцепления большого партизанского отряда. Отряд должен был выйти из леса к реке Мге в районе села Ужин. Было много раненых, обмороженных людей, поэтому с разведчиками в Ужин пошла санитарная машина с врачом. Не успели расположиться в брошенных хозяевами избах, как выяснилось, что в селе немцы. Они обосновались в школе, ограда которой защищала

их от внезапной атаки. Немцы оказались бывальыми фронтовиками, таких голыми руками не возьмешь. В первую же ночь кто-то из них проскользнул в наше расположение и привязал к задним колесам санитарной машины по гранате. Утром, когда ее хотели загнать в сарай, чтобы уберечь от немецкой авиации, она взорвалась. Водитель и санитар погибли, врач получил сильные ожоги, несколько человек покалечило. Когда тушили загоревшийся сарай, еще трех бойцов сняли снайперы – ночью они укрылись на огородах или в брошенных избах и били оттуда. Василий с Ремнем, забравшись на чердак своей избы, видели, что с крыши школы снайперам сигналият зеркальцем, но ответных сигналов не заметили.

Ночью началась метель, и это, вероятно, спасло уцелевших. К утру непогода стихла и свежий снег заискрился на солнце.

Днем радист получил сообщение, что к ним направили гвардейских минометчиков, но из-за непогоды те заблудились и находятся на каком-то хуторе в пяти километрах вниз по течению Мги. Ремень с Василием вызвались найти их и привести в село.

Когда стемнело, выпили на дорогу разбавленного талой водой спирта. Ремень, уже стоя у двери, сказал радисту: «Лампу закрути, а?».

Приотворив дверь, выскользнули из темного дома и замерли, прислушиваясь к ночным звукам. От мороза перехватывало дыхание. Огромная луна горела в усыпанном звездами небе.

Когда сходили с крыльца, до них долетел звон разбитого стекла, и тут же грохнуло внутри избы – раз-два! Горячий клуб огня и дыма швырнул их в снег, но Ремень, встав на колени, быстро-быстро подполз к углу дома и дважды выстрелил в немца, бросившего в окно гранаты. Его товарищ, увязая в снегу, двигался к забору, и Ремень стрелял в него, пока и тот не упал.

В школе, услышав стрельбу, запустили ракету, при свете которой Ремню с Василием было легче снимать с убитых сапоги, различные кожаные штаны и куртки на меху, свитера, байковое белье. Белобрысым, обросшим светлой щетиной фрицам было лет по 25, кажется, и мертвые они улыбались.

Двигавшиеся по огромному снежному полю ходоки могли бы показаться живыми мишенями, но стрелять по ним больше было

некому – маузеры с ножевыми засечками на ореховых прикладах были теперь у них за спиной. До хутора добрались часа за три. В мирном безмолвии тек в небо печной дымок. Два студебекера прятались в тени большого амбара – один с зачехленными направляющими, второй – с боезапасом.

Когда подошли к крыльцу, Ремень достал пистолет и тут раздалось: «Хальт!». Он обернулся на голос, встретив выстрел грудью. Василий поднял руки и сказал срывающимся голосом: «Нихт чисен, камарад, нихт чисен!».

– Не бзди, камарад, – ответили ему. – Только не шевелись.

Из тени вышел коренастый крепыш. По ушанке Василий сразу увидел, что это свой. На черных погонах желтые ленты буквой «Т», значок «Гвардия» на гимнастерке.

– Мы же свои, старшина, – сказал Василий. – Зачем стрелял?

– Свои? – переспросил тот, подбирая со снега ремневский вальтер. – А одежонка на вас какая-то ненашенская. Руки не опускай. Побежишь – хлопну, понял?

– Понял, – ответил Василий.

– Вас двое или еще есть?

– Двое, мы к вам из Ужина пришли. Чтобы провести.

– Мать твою... Опустит руки...

Из дому вышло несколько бойцов, один, застегивая ватник, спросил, кто стрелял.

Такие вот два сюжета, для соединения которых в один никаких оснований у меня, конечно же, нет. И потом: не могли же отцу дать орден за это, верно? С другой стороны – чего только не случается, особенно на войне.

В восемнадцать лет мать пошла на фабрику, где шили обмундирование. Ночные смены были самыми тяжелыми. Засыпали за машинами, из-за чего у многих швей были покалеченные иглами пальцы. Чтобы разбудить задремавших, мастер собирала по цеху ножницы и бросала их в конвейер. От грохота работницы приходили в себя, громче становился въедливый зуд моторов. В начале 45-го мать забрали в контору фабрики на должность машинистки – в школе она была отличницей, писала без ошибок. В том же году предприятие переехало в Кенигсберг, где она

встретила моего только что демобилизовавшегося отца, который увез ее в Одессу. Она возвращалась в Ставрополь один раз, чтобы забрать к себе мать – мою бабушку Таню,ждавшуюся возвращения Василия из лагеря. Мать рассказывала, что проговорила с братом два дня без умолку. «Думала, глаза выплачу», – вспоминала она. Она звала его с собой, водителю везде работа найдется, но тот, став единоличным хозяином семейного дома, отказался.

В начале октября 56-го Василий возвращался с приятелями с рыбалки. Уже смеркалось. Он сидел на борту у мотора, задремал, потерял равновесие и выпал из лодки. Без спиртного, думаю, не обошлось, поэтому пока хватились его, пока повернули... Коротче говоря, не нашли. Весной, понадеялись, тело всплывет, но куда там, Волга – река большая.

Отцовские награды мать продала в 90-х. Отец, к счастью, до этого не дожил.

Лев в Москве

С. О.

Вишневый бархатный занавес с золотой бахромой поднимается, открывая нам просторную сцену одесского двора. Боковые стены представляют собой декорацию из шелушащегося ракушняка, с украшением в виде частично застекленных галерей. Где рам нет, на стенах видны типовые предметы коммунального быта: электрические счетчики, почтовые ящики, тазы, мотки серых от времени бельевых веревок, часть сделанной гвоздем надписи: «Клара Будиловская – су...».

Кто эта женщина? Это не женщина, это – одесский фантом конца прошлого века, о котором знал весь город, но с которым никто не сталкивался, за исключением, может быть, автора исторической надписи. Ее имя можно было видеть повсюду, словно ветер горькой обиды разбросал его по улицам и площадям Одессы.

В правой части сцены – виноградная беседка. Из нее доносится звук перемешиваемых камней, которыми игроки елозят по пластику, удары и смех курильщиков в ответ на глухие матю-

ги, вызванные к жизни заклинанием: «Рыба!». Из-за беседки выглядывает горбатый «Запорожец» с извлеченными из глазниц фарами. Ржавый корпус поддерживают четыре стопки кирпичей. Это своеобразный памятник скоропостижному счастью автомобилевладения и одновременно – надежде. Когда-нибудь он еще поедет! Да, конечно!

В конце двора – приземистый флигелек под жестяной кровлей. Кривоватые окна, неровный слой замазки наползает на пыльные стекла, вазоны с алоэ, детский самокат, кусты помидор вперемешку с кустами георгин.

На авансцене установлена беленная известью дворовая колонка с эмалированной табличкой «Белье не стирать!». А где его стирать?! Летом, когда дают напор, хозяйки стирают именно здесь, и вот оно само белье – чинно висит тяжелыми, мокрыми, пахнущими хлоркой парусами на поднятых на деревянные шесты веревках.

А вот две женщины – мелкая Муся и крупная с наливными плечами и огромной грудью Дуся – терзают простыни в узких и длинных, как крышки гробов, цинковых лоханях. Отмучив очередную, Дуся выкручивает ее и бросает в стоящую под краном выварку. Распрямившись, она утирает тыльной стороной руки лоб и поправляет бусы из деревянных прищепок.

Два силуэта – мальчика и девочки – появляются в подъезде. Вынырнув на свет, девочка с этюдником через плечо, с листом картона подмышкой прикладывает ладошку козырьком к глазам и кричит задорно:

– Ба! Поесть че-т найдется?!

– Люба моя золотая, – Дуся вытирает руки о бока, улыбается. – Идите до хаты, шас оладей наделаю со сметаной.

– Ишь, голуби, – шморгает Муся красным носиком.

Переваливаясь на затекших ногах, Дуся направляется домой, но соседка останавливает ее:

– Дусь, ты, может, выварку свою отодвинешь от крана, а?

Та возвращается и за ручку оттаскивает выварку в сторону.

Эти голуби – герои моей истории, Сонечка и Левушка. Они учатся в Грековском художественном училище. Пока Дуся, шаркая шлепанцами, идет жарить оладьи внучке и ее кудрявому ухажеру,

те, бросив на пол полутемной прихожей испачканные краской этюдники, слились в совершенно захватывающем дух объятии и целуются, целуются до боли в губах, как это могут делать только те, кому повезло испытать одновременно первую любовь и первую близость.

Когда родители увезли Левушку в Америку, Сонечка горевала страшно. Дуся даже возила ее к профессору Москетти на Слободку, и тот, сочувственно кивая, выслушал историю больной и прописал ей свое фирменное средство от всех скорбей – карбонат лития. То ли лекарство, то ли время взяли свое. Отойдя от потери, Сонечка вернулась в училище, окончив его, поступила на работу в художественный фонд, потом вышла за одного серьезного монументалиста из Москвы, благодаря таланту, трудолюбию, ну и не без мужниной помощи, доросла до званий и должностей. Потом у него, правда, случился инсульт, вот так вот, на ровном месте, как говорится, но отходила, слава Богу. Живет. Короче, много чего случилось в ее жизни, но я сразу перехожу к ее появлению в Нью-Йорке.

Она приехала сюда по приглашению какого-то фонда с персональной выставкой и смутной надеждой на встречу с первой любовью. Не то чтобы она стремилась к этому, но интерес был. Все же такие рубцы на сердце остаются на всю жизнь. Каким-то он стал, ее кудрявый американец?

А ее кудрявый американец стал между тем знаменитостью. Он стал Лио Шкловски, чьи работы находились в очень даже значительных частных собраниях и даже некоторых музеях. По этой причине вокруг него всегда кружила стая поклонников и поклонниц, своими шутками, смехом и комплиментами создающих ту атмосферу праздника, в которой он охотней платил за шампанское и кокаин.

И вот в один прекрасный день, прогуливаясь по Вест-Бродвею, Лев заходит к знакомому галерейщику и, перелистывая в разговоре с ним свежий номер «Gallery Guide», видит сообщение о выставке известной московской художницы Софьи Кириченко и тут же – ее фотографию. От неожиданности сердце его дает сбой. Постарела, конечно, его Сонечка, но что ты хочешь – трид-

цать лет прошло, как-никак! Но все те же чудесные карие глаза, та же широкая улыбка, только седина вот появилась в тугом хвосте волос и складки обозначились у смешливых губ.

В день вернисажа Лев тщательно бреется и долго умащивает швейцарским «Селлменом» пергамент щек, виски, лоб, шею – будь она неладна. Вот тоже люди научились делать деньги – полторы унции зелья сомнительных целебных свойств стоят 300 баксов. Он надевает белую рубашку с жабо, черный костюм, остроносые сапоги на каблуках и стэтсон. Звезда должна одеваться выразительно.

При его появлении по переполненному залу прокатывается легкой волной шепоток: «Это он? Да, он! Сам? Да! Дон Лио Шкловски!». И тут же к нему устремляются коллеги, знакомые, просто любопытные, незаметно как-то начинают подтягиваться девушки на каблуках, ему подают стаканчик с белым вином, а он благодарит и просит красное – белое он не пьет. Да, так вот его испортили в этом Нью-Йорке. И уже по уровню полученного им внимания и заботы не вполне даже понятно, чья это выставка – не его ли?

Нет, не его, и те, кто помнит об этом, ведут его к настоящей виновнице торжества. Та стоит в окружении сотрудников пригласившего ее фонда и группы завсегдатаев премьер и открытый, не пропускающих возможности сфотографироваться с очередной знаменитостью. Тут же пара-тройка самодеятельных репортеров. Щелкают всех подряд в надежде поднять трафик на собственном блоге, не вникая даже, кто эти люди. Внезапно народ перед московской художницей расступается, и она видит средней упитанности кабальеро в шляпе. Он пристально смотрит на нее. Ей говорят, мол, рады познакомиться вас с нашей знаменитостью, может, вы слышали – Лио Шкловски. Фамилия, глаза, рыжие кудри заставляют ее застыть на секунду. Краска бросается в лицо, и то же самое происходит с кабальеро. Он бормочет что-то типа того, что они уже знакомы, а она, выдохнув изумленно: «Левушка, ты?» – летит ему в объятия. Два стаканчика с вином – белым и красным – катятся по полу, где образуется лужа розэ.

А дальше и слезы, и смех, и сплющенное в ее ладошках Левушкино лицо с рыбьими губами, и изумление окружающих,

и не совсем, может быть, уместные жидкие аплодисменты, все это под вспышки канонов и айфонов.

После вернисажа и ужина с организаторами выставки Лев везет Сонечку к себе. Из окон его квартиры открывается дивный вид на ночной Манхэттен. Мириады окон и звезд сияют на бархатном полотне ночи, а далеко внизу текут, мерцая красными сполохами стоп-сигналов, автомобильные реки. Величие этой картины как бы оправдывает его измену и родине, и первой любви. Но у него есть и другие оправдания. Он рассказывает, как родители подмешивали ему в еду седуксен, который получали по рецепту для бабушки, и все те несколько месяцев, когда семья готовилась к отъезду, он был буквально не в себе, а когда спрашивал, где его Соня, ему отвечали, что она вышла в другую комнату или пошла за хлебом и сейчас вернется, он может пока поспать. Так в конечном итоге грань между сном и жизнью исчезла для него. А когда он наконец проснулся, вокруг была Америка, Нью-Йорк, и исправить что-то было уже не в его силах.

Рассказывая это, он поливал ее руки горькими слезами раскаяния и обиды, и его слезы смешивались с ее, когда она рассказывала, как резала кухонным ножом вены, как бабушка Дуся, она, конечно, давно уже умерла, повезла ее на Слободку, и все заднее сиденье такси было залито кровью, потому что бабушка сначала не могла затянуть узел толстым махровым полотенцем, а потом уже стала держать ее худенькую ручку своими двумя. Таксист все ругался: кто будет платить за уборку, а Дуся в ответ кричала, чтобы он взял деньги у нее в бюстгальтере, потому что она не может отпустить руки. Кошелек, ясное дело, завалился в этой кутерьме так глубоко, что шоферу пришлось повозиться, – короче, нашлось что вспомнить.

Их слезы, как самый настоящий эликсир молодости, смыли с них прожитые годы, и они уснули, обнявшись, на диване под окном с грандиозным видом, как засыпали когда-то в своей белой комнатке на улице Княжеской.

Но любовь любовью, а жизнь жизнью, и на следующее утро, сидя за бесконечным американским завтраком с апельсиновым соком, тостами, омлетом с беконом, блинами с кленовым сиропом и кофе, они говорили, что нет все-таки худа без добра,

и их встреча открывает перед ними еще одну возможность заработать копейку, потому что никакой художник не думать об этом не может. Сегодня есть, завтра нет, а старость не за горами, и всякое может случиться, верно?

Действительно, каждый из них много чего достиг по разные стороны Атлантики. Соня, со своей стороны, стала членом совета директоров всемирно известного музея. Лев, со своей, теперь открывал ногой двери самых известных галерей. И в этом разговоре о будущем Соня предложила ему организовать ретроспективную выставку в Москве, в том самом музее. Лев, конечно, ответил согласием, за которым стояли не только денежные соображения. Согласитесь, каких бы успехов ни добился иммигрант на новом месте, ему приятно вернуться на старое и отчитаться за достижения истекшего периода!

И вот Лев в Москве. В теленовостях сообщают о возвращении на родину звезды американского искусства российского происхождения. Его безумно дорогие работы можно наконец увидеть собственными глазами и даже потрогать руками, только очень осторожно. И потом начать клепать аналогичные, потому что мастера русской академической школы склепают тебе что угодно, только скажи что. Что там у них на Западе сейчас модно? Вот бы знать заранее, да?

Короче, важный американский гость пожимает протянутые к нему руки, фотографируется с местными знаменитостями, сидит с ними за одним столом, платит за шампанское и снова купается в искренней любви и симпатиях нарядных и веселых людей. А как здорово говорят они на русском! Как свеж и энергичен их язык, так непохожий на его, словно увядший в заграничной неволе! Он смеется, показывая ослепительные американские зубы. В неволе тоже есть свои плюсы, согласитесь!

Хозяева с удовольствием соглашаются и катают его по мастерским, кабинетам и дачам, где льется густая от мороза водка и хрустят соленые огурчики, и черная икра образует отличную мишень, если точно разместить ее в кружке сметаны на блине. «Давай, дорогой, пока не выдохлось!» – подбадривают его, и он дает, отмечая, что лица вокруг становятся еще светлей, когда он говорит, как ему легко представить своих новых друзей

владельцам галерей в Нью-Йорке и в Сан-Франциско, а также в Лос-Анджелесе и в Остине. Да, все бабло сейчас в Техасе, чтобы вы знали, но мы еще до них доберемся! Им не спрятать от нас свои нефтедоллары!

Лишь небольшое облачко раз проносится над ним. На очередном вернисаже Сонечка представляет его мужу. Человек с немного перекошенным лицом тянется к нему из кресла-каталки. На нем громоздкий серый костюм, ворот белой рубашки чуть великоват, невыразительный галстук. Начав носить этот гардероб, он, видимо, был крупней. Лев смотрит на Сонечку в поиске поддержки и читает в ее глазах: «Что поделаешь, мой дорогой? Это – жизнь».

Рука у инвалида необыкновенно цепкая. Лев пытается расшифровать обращенный на него взгляд по-северному прозрачных глаз, понять, не таится ли сарказм в благоприобретенном перекосе черт, не дает ли ему понять несчастный инвалид, что осведомлен об их треугольнике?

– Д-давно слежу за в-вашим творчеством, – докладывает тот.

– Да?!

– Видел в к-каталогах и ин-тернете.

Инвалид ухмыляется, не торопясь отпустить его.

– Н-но хотелось бы п-понять вашу ф-философию...

– Что?!

– В-вашу фи-фи-лософию, говорю, х-хотелось б-бы понять.

Лев озадачен.

«Философия у нас простая, – думает он. – Сделал и продал. Со всеми остальными вопросами – к критикам. Им за это деньги платят».

Откуда это в нем? Это от папы, который всю жизнь знал, как сделать копейку и принести в дом. Это от папы, который, к большому сожалению, умер в своей хорошо обставленной кооперативной квартире на Брайтоне, так и не дождавшись, когда работы сына станут покупать еще до открытия выставки и в сыне проснется его понимание успеха.

– Это не совсем удобное место, – мямлит Левушка.

– Да-да, я п-понимаю, а вы п-приходите. Соня ус-строит...

П-поговорим.

– Спасибо! С удовольствием!

Чьи-то спасительные руки оттаскивают Льва от собеседника, чтобы устроить у стола, за которым собрались другие люди – здоровые и ненавязчивые.

– Лев Борисович, у вас рюмка пустая, это надо немедленно исправить!

Ах, как не похожа эта Москва на ту, в которой он оказался тридцать лет назад! Эта – счастливый мир, схваченный своими, теплыми, желающими ему добра людьми. Людьми, которые обращаются к нему на «вы» и по имени отчеству, отчего возникает ощущение того, что говорят не с ним, а с кем-то рядом.

– Лев Борисович, вы пробовали миноги? Возьмите.

– Лев Борисович, скажите, а как бы вы отнеслись к идее вступления в Академию художеств России в качестве почетного зарубежного члена?

– Кто, я?! – смеется он. – А зачем?!

– Зачем?! Нет, ну подумайте, что это за академия без почетных зарубежных членов? И кому, если не вам, занять это место?

– О, кстати! – вспоминает он. – После училища я же чуть не поступил в эту академию. Вот Софья Николаевна в курсе.

– Вы имеете в виду – в Репинку?

– Нет, в Суриковское. Но тоже, как-никак, часть академии, верно? Это – потрясающая история, между прочим! Я должен рассказать. Это было в...

Левушка пытается точно вспомнить год, прикладывает ладонь ко лбу, морщится, но его отвлекают новым тостом. Резной хрусталь снова полон до краев, и мысль о прошлом, смазанная соленым осетровым жирком, ускользает от него. И потом, давайте будем откровенны: собравшиеся интересуются галереями Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и теперь вот еще Остина куда больше, чем тем, что случилось с их гостем буквально в прошлом веке.

Да и обстановка не для воспоминаний, особенно при наличии водки и всего остального красного и черного, полного, как они этот тут называют, Стендаля.

В Нью-Йорке, протрезвев, Левушка начинает было сомневаться, что виденное и слышанное действительно случилось с ним, но Сонечка подтверждает это по скайпу:

– Лева, – говорит она, глядя в объектив монитора как в зеркало и вычесывая тугой хвост волос. – Ты не шути. Потому что они точно не шутят. Я их знаю, Лева. Это серьезные люди. Ты уже в плане, Лева, от тебя ждут результата.

– Какого результата? – возражает он. – Результат дают «Сотби» или «Кристи».

– Ат, ты не понимаешь, – сердится она. – В жизни как в часах. Одно колесико крутит второе, то третье – и стрелки идут. Какое колесико самое главное? Все – главные.

Он заваривает кофе на газовой плите – в настоящей, купленной в Стамбуле джезве. Дождавшись, когда пена запузырится над медными краями, выключает газ, наливает густое варево в чашку, закулив, устраивается у окна. Солнечным декабрьским утром расстилающийся перед ним город красив так же, как и ночью. Но если ночью он романтичен и непредсказуем, то в продутые ледяным океанским ветром дни эта геометрическая комбинация черных провалов улиц и слепящих плоскостей высоток предельно ясна и прагматична. Она зовет тебя к действию и к вершинам жизни, сияющим на солнце, как пик Крайслер-билдинга.

«А почему, действительно, нет? – он затягивается так глубоко, что сигарета сгорает чуть не на треть. – Это при моих-то успехах, при моем мастерстве. После десятилетий каторжного труда, после позорных уступок грабителям-галеристам и скрягам-коллекционерам, после изматывающих операций по привлечению тупых и ничем не интересующихся, кроме денег, критиков. Нет, ну действительно, если не я, то кто? Эти рисователи антисоветских карикатур музейного размера? Борцы с режимом, от которого внезапно не осталось даже воспоминаний? К чему в сегодняшнем культурном дискурсе приложим пафос их вчерашних исканий?»

Он вдавливая тлеющий остаток сигареты в пепельницу, допивает кофе. Соня права, конечно, – никогда не знаешь, где найдешь.

В основе его успеха лежала техника, о которой говорили: «на грани фантастики». Сравнения с Дюрером стали дурным тоном из-за частой повторяемости. Дело было не только, конечно, в технике на грани фантастики, но и в таланте на грани колдовства. Нарисованная им вещь становилась живым организмом, шла ли

речь о замочном ключе, старом «Ундервуде», дамском корсете позапрошлого века. Он никогда не повторялся – облупившаяся эмаль, кракелюр старой кожи, щетина малярной кисти – увлекали его, как сложный ландшафт увлекает пейзажиста. Но чтобы втиснуть натуру в раму, пейзажист уменьшал ее, исключал миллион деталей, превращал жизнь в условность, красивую подделку. Шкловский клал свою натуру под микроскоп, открывая зрителю такие подробности, что вещь, казалось, дышит.

Перед поездкой в Москву Лев пошел в «Сакс на Пятой», где купил коричневый в тонкую бежевую полоску двубортный костюм от Кристиана Диора, белый шелковый шарф – знак принадлежности к художественному цеху, и великолепную федору – в тон костюму.

Рассматривая себя в тройном зеркале примерочной, заключил:

– «Американец». Габардин, шелк, фетр, кожа, кости, мясо, жир. Смешанная техника. Леон Шкловски. Коллекция автора. Нью-Йорк.

– Вам бы еще трость, – подал голос помогавший ему продавец.

– А я бы не отказался! – Лев засмеялся, представив реакцию своих новых заокеанских друзей.

И вот он снова в Москве. Его встречает уже знакомый Полный Стендаль, но теперь Лев не смеется, он чуть-чуть нервничает. Как-то все это неожиданно и так необычно...

– Лев Борисович, – говорит ему высокая блондинка в черном костюме и стильных очках в красной оправе – в тон помаде, – все будут в смокингах.

– Что? – не понимает он.

Блондинка в очках тревожно улыбается.

– Будет вся академия, сотрудники министерства, телевиденье.

– Все в смокингах? Нет, я так, спасибо. Извините, как вы сказали, вас зовут?

– Валерия.

– Спасибо, Валерия. Не волнуйтесь, все будет хорошо.

Через полуприкрытую дверь он видит торжественный зал, где собрались гости: именитые коллеги, какие-то начальники, нарядные дамы. Пол в черных кабелях, дальше – юпитеры,

телекамеры на треногах и операторы в наушниках. Во втором ряду с краю он видит свою Сонечку и рядом с ней ее инвалида. Сложенное кресло стоит рядом у стены. Тот же квадратный в плечах пиджак, слишком большой ворот рубашки, тот же скептический перекося черт. Как она живет с ним? Как помогает раздеваться? Наверное, как все пожилые люди, сжившиеся с сознанием того, что надеяться можно только друг на друга.

От волнения его начинает слегка знобить. Но он знает, что делать. Он знает, как достичь олимпийского, как это называется, спокойствия.

– Где здесь у вас туалет, Валерия?

– В конце коридора направо.

– Спасибо.

Закрыв за собой дверь кабинки, он присаживается на край унитаза и достает из кармана жилета привезенный из Нью-Йорка джойнт. Тот забит великолепной афганской травой, которую он покупает у живущей на Северной Шестой над пластиночным магазином дилерши по прозвищу Афганка Мувер. Муверами в Нью-Йорке зовут грузчиков, которые перевозят мебель. Афганка Мувер, продавая пакет своего снадобья, всегда приговаривает: «Две затяжки – и у тебя мебель сама из дому пойдет». Почему мебель должна сама уходить из дому? Не спрашивайте. Мысль наркомана стремительна, выяснять природу его ассоциаций бесполезно.

Лев взрывает джойнт, делает затяжку и, закрыв глаза, сколько может держит дым в себе. Афганка Мувер. Мебель, говорит, сама от тебя пойдет. Он представляет, как тащится со страшным скрипом к двери тяжелый шкаф с зеркалом, как прикроватная тумбочка семенит к выходу на коротких собачьих лапках. Похоже на картинку из «Мойдодыра». Он кашляет злопахучим дымом. Потом делает еще одну затяжку, потом еще и, погнув темную от краски подушечку указательного пальца, гасит джойнт, аккуратно заворачивает остаток в целлофан, прячет в карман жилета. Еще пригодится. Застегивается у зеркала, поправляет шарф, проводит рукой по двум рядам пуговиц. Разворачивает и кладет в рот жвачку. Идет в зал. Взволнованная Валерия вылетает навстречу:

– Лев Борисович, где вы? Сейчас выходить на сцену. Ой, а что это от вас...

– Валерия, – говорит он, прислушиваясь к своему голосу, который теперь звучит как будто со стороны, как будто это кто-то другой, стоя у него за спиной и, устроив подбородок на его плече, говорит за него. – Только не надо волноваться, Валерия. Вы же со мной. Я все беру на себя, – он ободряюще смеется. Нет, это не он, это кто-то рядом смеется его голосом, и это смешно. – Я надеюсь, вы не исчезнете сразу же после этого бенефиса? Я должен вам рассказать одну потрясающую историю. Как меня один раз отсюда выгнали. Нет, это было давно. Лет тридцать назад. Или даже больше. Честно! Да-да, я иду.

Миг – и он на сцене. Ему хлопают. Уже другая девушка в черном, но тоже длинноногая и тоже с красными губами, раскрыв красивую бархатную папку, читает заготовленный текст про технику на грани фантастики. Снова хлопают. Девушка показывает, чтобы он прошел к микрофону. У нее потрясающие синие тени на веках, темно-красные губы и белоснежная кожа. В этом есть что-то от американского флага. Примитивная лихтенштайновская выразительность. Он смеется от ясной простоты этой мысли. Она снова указывает ему на стойку микрофона. Ну, конечно, он должен поблагодарить собравшихся. И не забыть сказать, что если бы не случай, мог учиться с ними и сейчас сидеть в этом зале, а не стоять на сцене.

Кто-то рядом кашляет в кулак. Это поразительно – он подносит ко рту кулак, а кашляет тот, другой, на плече. Что за чертовщина?! Это уже не смешно. Нет, все-таки смешно.

Перед ним ряды лиц, похожие на поплавки на черных волнах пиджаков. Но далеко не на всех можно видеть то добродушное благорасположение, к которому он так привык. Он видит лица насмешливые и требовательно-серьезные, искривленные гримаской злой иронии и сонно-безразличные. Какое огромное море чувств простирается перед ним, подступая к самым носкам его двухцветных ботинок от Пола Смита! Какое слово ни брось в это море, оно поглотит его и будет долго-долго обкатывать в своих волнах, пока не положит в правильное место на дне и не станет хранить там, потому что слово – как камень, долговечно, и часто переживает обронившего его.

– Академия всегда была для меня недостижимой мечтой, – вдруг начал, не спросив, невидимый спутник Льва. – Когда я только окончил одесское художественное училище и моя выпускная работа была отмечена всесоюзным жюри, я приехал в Москву, чтобы поступать в институт имени Сурикова, но я не смог даже сдать вступительный экзамен.

Сказанное заставило его задыхнуться от ужаса. Боже мой, что значит не смог сдать?! Надо же объяснить, почему! Но с чего бы начать, чтобы вышло коротко и понятно? Наверное, лучше всего с детства. Причем с раннего.

– Когда мне было лет пять... – начал он.

Когда Левочка был пятилетним ребенком, его папа Борис Михайлович был одним из самых модных женских портных в Одессе. Его знали как Шкловского с Пишионовской. Улица носила имя француза Пишона, а скорее даже Пижона, который открыл в Одессе фабрику по производству ароматной пудры. Название этой улицы тревожило одесских модниц на генетическом уровне. Ах, Франция! Шкловский-старший обшивал жен всех городских начальников и морячек высшего ранга – жен капитанов, старших механиков и помполитов.

Левушка лежал на покрытом нитками ковре, где папины кожаные мокасины танцевали свой бесконечный танец с остроносими итальянскими туфлями его заказчиц, и, высунув от усердия язычок, перерисовывал из журналов высоких, переломленных в осиною талии женщин в плащах и шляпах. Приросший к крохотным пальчикам карандаш проявлял поразительную точность в передаче самых мелких деталей. Оставленный им на столе рисунок кружев принимали за кружева.

Один раз он изобразил предмет женского белья в таких подробностях, что мать, сглотив, спросила: «Где ты это видел?». Он пошел к дивану и достал из-под бархатной подушки комочек кружев и шелковых тесемок. Был страшный скандал, на пике которого отец с надрывом выкрикнул: «Молчи! Ее муж ты знаешь кто?! Всех посадят!». «Меня не посадят! – крикнула в ответ мать. – Мне еще скажут спасибо за конец этому разврату!» «Сима, ты получишь деревянную крышку на гроб и ничего больше!» – «Предатель родины, ты не знаешь, что я получаю или нет!» – «Сима,

не будь! Здесь нет предательства, это – провокация. Подонки под меня копают! Они жаждут меня в тюрьме! Они не любят частника!» – «Я тоже жажду тебя в тюрьме!» – «О, темные, как ночь, люди, что вы будете иметь с меня в тюрьме? Ни что надеть, ни кусок хлеба!»

В школе Левушка, можно сказать, не учился, но рисование его спасало. Когда педагоги поняли, что к наукам он невосприимчив, но рисует не по-детски хорошо, ему выделили стол в учительской, за которым он делал на листах ватмана очередную стенгазету или писал по красной ткани белой эмульсией с замешанным в нее зубным порошком лозунги типа «Учиться, учиться и еще раз учиться» или «Отличной учебой встретим XXIII съезд КПСС».

После восьмого класса Левушку приняли в художественное училище. Он так отдался учебе, что первая любовь пришла к нему с большим опозданием – на четвертом курсе. Сонечка была родом из Овидиополя. В Одессе она жила у бабки на Княжеской, напротив дома художника Буковецкого:ходишь под низкую арку – флигель в самом конце двора. Она занимала светлую, наполненную запахом скипидара и красок комнату с никогда не застилавшейся постелью, в которую постоянно норовил заскочить колченогий Равлик. Ночью он тихонько заберется под одеяло, проползет, как шпион, к подушке, вывернется на спину, устроит голову между ними. Утром проснешься, Равлик выжидательно смотрит: выгонят, не выгонят?

– Равлик, опять ты? А ну, вали отсюда!

Равлик встает, смотрит обиженно, идет по ногам, уже не таясь, еще раз оглядывается, не в силах поверить такой несправедливости, спрыгивает на пол, укладывается на подстилку. Косит обиженным глазом – не позовут ли обратно?

Левушка привстает на локте – Сонечка еще спит, устроив щеку в ладошке. Он целует ее в проступившую на горячем виске голубую жилку, она не слышит. Он ложится, закрывает глаза. За окном голуби постукивают лапками по карнизу, воркуют о своем, ритмично скрипит ржавый блок – Дуся развешивает белье.

На дипломной работе – «Возвращение» – Левушка изобразил стоящего посреди их двора солдата с вещмешком, с винтовкой, в расстегнутой шинели. У его ног – белый голубь. Голубь казался

живым. Он косил на зрителя обиженным глазом Равлика, словно спрашивал: «Ну, позовете?». Рассохшихся в глубоких рубцах ботинок хотелось коснуться, проверить – нарисованы ли они, или это автор приклеил на холст куски старой кожи?

Работу выдвинули на всесоюзный конкурс, она получила первую премию, и то, что раньше неявно назревало, лопнуло и запузырилось. В Москву! В Суриковский! В кабинете директора было срочно созвано совещание.

Все, конечно, понятно, талант и все такое, но... э-э... пятая графа? Перестаньте, в какое время живем! Вот именно – в какое?! Я не буду напоминать вам, что происходит на Ближнем Востоке. Боже, он – ребенок, какое он имеет отношение к Ближнему Востоку?! Очень простое: сегодня он здесь, а завтра – там! Я не знаю, что будет завтра, а сегодня я вам скажу, что такие дети рождаются один раз в сто лет и становятся славой отечественной живописи, вспомните Бродского! Мы должны проявлять бдительность. Не в ущерб таланту! У мальчика в кармане всесоюзная премия, его заметил кто-то повыше нас с вами, так что считайте, что бдительность уже проявлена!

Вручая Льву рекомендацию, директор училища, наклонив поголубиному голову, внушал ему:

– Вы едете поступать в Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова, молодой человек. Я думаю, вам не надо объяснять, какая ответственность лежит на вас. За вами стоит весь коллектив нашего училища. Авторитет и доброе имя ваших педагогов. Вы понимаете, что я имею в виду?

Родители тоже были счастливы – если поступит, то, считай, еще на пять лет отсрочка от армии, а дальше видно будет. Левушка сложил этюдник, сунул в рюкзак свитер, белую рубашку для экзаменов, белье и носки на смену, коробки с кистями и карандашами, хрестоматию по русской литературе.

Проснувшись утром в купе, слушая стук колес покачивающегося вагона, он обнаружил, что лежавшего в ногах рюкзака нет. Наверное, свалился ночью на пол. Он заглянул вниз. Двое лысых мужиков с бычьими шеями, устроившись по сторонам столика, пили водку. На газете между ними лежал сочный украинский на-

тюромт: белое сало, зеленый лук, черный хлеб, раскрытый нож с костяной ручкой. Бутылка весело сигналила в окно летевшему за поездом солнцу. Рюкзака не было.

Левушка спустился и обнаружил, что нет не только рюкзака, но и новых чешских сандалий, купленных ему перед поездкой в Москву.

Мужики, хрустя лучком, с интересом рассматривали его. Узнав о пропаже, один сказал многозначительно другому:

– Так ты понял? А я еще думаю, вроде у него лапа побольше размером, но сандалеты же такое дело: пальцы вперед прошли – и носи на здоровье.

Второй, почесав голову, объяснил Леве:

– Тут один ночевал напротив тебя. На Солнечной в 4:10 вошел, в Очаково в 4:30 вышел.

Видя растерянность попутчика, один достал из сумки запасную стопку из нержавеющей стали, поставил на край стола, наполнил.

– Присоединяйся. Тебя как звать-то?

Попутчиков звали Витяня и Вован. Они были близнецами. Обменялись рукопожатиями. Руки у них были толстые и добрые. Лева позавтракал с ними, в ответ на расспросы сообщив, что едет поступать в Академию художеств.

Тогда Витяня сказал:

– Левчик, ты если художник, так ты нарисуй эти сандалеты прям на ноге. Сейчас лето, ноге не холодно. А как до магазина какого-то доберешься, там прикупишь, что тебе надо.

– Действительно, – сказал Вован. – Покажи, на что ты способен. Мы тебе сразу скажем, какой из тебя этот, как его... Айвазовский.

Братья заржали, а Лев раскрыл этюдник, устроил ноги на краю скамейки и изобразил на них отменные сандалеты, из-под которых еще и проглядывали красивые носки в серо-оранжево-коричневую полоску.

Вован с Витяней были в таком восторге, что насобирали ему по карманам четыре рубля с мелочью – на кеды, а на вокзале взяли с собой в буфет, чтобы показать Витяниной жене Ленке. Она там работала. Лена долго присматривалась к его ногам, а потом спросила, не мог бы он нарисовать прямо на ней гипюровую ночную сорочку. Лев ответил, что нарисует такую, что

сама королева Виктория позавидует, если только Витяня возражать не станет.

– Я те нарисую, – Витяня хлопнул его легонько по затылку и добавил: – Айвазовский.

Когда все насмеялись, Лена ушла на кухню и вынесла им в промасленной бумаге чебуреков с картошкой. Они взяли к ним еще поллитровку, для чего Левушке пришлось им вернуть один рубль. Устроились за ящиками с яблоками, которыми закусывали, когда кончились чебуреки. Потом Витяня ушел к жене, а Вован отвел Левушку на метро. По дороге он очень подробно, так что тот тут же запутался, объяснил, где он должен совершить первую и потом – через шесть остановок – вторую пересадку, чтобы добраться до общежития.

В вагоне Левушка часто засыпал, всякий раз пропуская момент, когда невидимая женщина объявляла со сдержанным воодушевлением остановки. А вокруг люди читали, дремали, думали сосредоточенно о своем. Это были люди в очках и с усами, в косынках и в кепках, с золотыми зубами, зубами из нержавейки или с черными щелями на месте зубов, потерянных в схватках с жизнью. В каждом из этих лиц была своя история, достойная его карандаша, но в тот момент все его мысли были о туалете, потребность посещения которого вдруг заслонила все остальное. Именно по этой причине, покидая на следующей остановке вагон, он начисто забыл об этюднике, и поезд увез его в темный туннель, лишив того важного звена, которое связывало Леву как с прошлым, так и с будущим. Миг, фраза «осторожно, двери закрываются» – и из абитуриента Московского государственного академического художественного института имени Сурикова он превратился в пьяного бродяжку.

Левушка осторожно, чтобы не упасть на сильно раскачивающемся полу, осмотрелся. Станция сверкала светлым кафелем, и не было в ней ни одного укромного угла, который мог бы принять его в своей уединенной тиши. Он встал на эскалатор и поехал вверх, прочитав над сводчатым выходом первые понятные в этом подземелье слова – «Третьяковская галерея».

Людская волна вынесла его к небу, и он, ловя краем глаза указатели, побежал легкой трусцой к единственному месту, которое

могло теперь спасти его. Очередь казалась неподвижной. Едва добравшись до окошечка кассы, купил билет. Плотная толпа, придерживая со всех сторон, внесла его в залы, где он на какое-то время отвлекся от своей заботы видом знакомых пейзажей и лиц, пока одно не заставило его замереть и остановиться – это было светлое и улыбочивое лицо его Сонечки.

Она смотрела на него из зеркала-картины, держа в одной руке хвост густых каштановых волос, а в другой – гребень. Их сияющая белым светом комната выглядывала из-за ее легкой фигурки. И такая жуткая тоска свела страшным спазмом отравленный водкой и чебуреками Левушкин организм, что, обессиленный, он припал к стене с портретом любимой и дал волю всей переполнявшей его влаге. Ему не нужен был этот чужой город, эта академия, учеба непонятно чему, он только хотел вернуться в теплые Сонечкины объятия, где мир был понятен и прочен. Держась за стену, он рыдал, нимало уже не заботясь о том, как горячий спиртовой коктейль течет по ногам, смывая краску, быстро расползающуюся по историческому паркету.

Не успел он насладиться долгожданным облегчением, как чьи-то сильные руки подхватили его, он взлетел и понесся вперед, разрезая мокрыми пятками и отбрасывая назад пространство, полное лиц, пейзажей и распахивающихся дверей. В очень неприветливом казенном учреждении, где он скоро оказался, его раздели и поставили под ледяной душ, а потом положили, трясущегося от озноба и отравления, на жесткую, как доска, кровать, прикрыв отчаянно колючим одеяльцем.

Через неделю отец вызволил его из захламленной кладовки вытрезвителя, начальство которого решило использовать узника по прямому назначению – рисованию настенной агитации и лозунгов типа «Норма жизни – трезвость!».

В поезде Борис Михайлович рассказал о страшном скандале в институте. Милиция обратилась сначала туда. Имя и адрес нашли в документах абитуриентов. Родителям написали открытку.

– Шикер, – выговаривал ему Борис Михайлович. – Ты уже можешь забыть за свою академию! Ты будешь красить заборы в зеленый цвет. Ты не знаешь, что мне надо было выслушать! Ваш сын обделал главную Третьяковскую галерею Советского Союза,

как дворовой сортир на своей Молдаванке! Какой-то шедевр какой-то Зинаиды! Я им сказал, извините меня, но такое может случиться с каждым человеком, включая присутствующих, это – раз. Два – мой сын рисует не хуже вашей Зинаиды, а может, еще и лучше. Или вы думаете, ему напрасно дали всесоюзную премию первой категории?!

– Ой, вэй! – папа уже беседовал сам с собой. – Надо было видеть, как они подпрыгнули. Это не какая-то Зинаида – это – гений русской живописи XX века! А я что, спорю за ее гениальность? Я просто хочу сказать, что если бы какие-то хазеры не напоили моего сына водкой, так у вас было бы два гения русской живописи XX века. Мама моя родная, они так кричали, небо стало черным. Нет, в такой стране аиду хорошо не будет!

В ноябре того же года Левушку увезли в Америку, но это уже была другая история. Вот, собственно, и все, что он хотел рассказать собравшимся, но не успел. Мощная афганская волна, поднимавшая его все это время на свою радостную высоту, стала оседать, и он понесся по ее скату в неумолимо разверзавшуюся под ним черную пучину тоски. Но еще перед тем как исчезнуть в ней, он снова увидел свою Сонечку. Со страшной печалью смотрела она на него. Рука ее лежала на руке ее перекошенного несчастья на колесах. И тогда, спасая остающиеся у него мгновенья, он схватил микрофон обеими руками.

– Дамы и господа! – заторопился он. – Уважаемые академики! Когда-то я смотрел на вас и думал, что лучше, чем рисуете вы, рисовать невозможно. Да, я так думал! Я мечтал быть вашим учеником. Я мечтал быть таким, как вы. А сейчас, – он задохнулся, уступив место своему двойнику, чей смех, злой и короткий, стал похожим на отрывистый собачий лай. – А теперь, мне это все на фиг не надо! Не надо, потому что я рисую лучше всех вас вместе взятых, и мне платят за это миллионы! Вы поняли, меня? Миллионы! Вы меня поняли! Мне не нужен ваш почетный диплом! Мне ничего здесь не нужно! Ничего!

Сгибаясь от одолевшего его лая, он видел, как взлетели удивленные брови, как кто-то, оскалившись, смеялся, а кто-то говорил зло и возбужденно, кто-то даже аплодировал. Он ощутил, что его тащат со сцены. С головокружительной ритмичностью перед

ним появлялись то растерянное лицо Валерии, то ее прекрасные ноги, как будто она безостановочно крутила колесо. Он пытался остановить ее, и в какой-то момент ее остроногая красная туфля даже оказалась у него в руке, но ненадолго. Его ударили о стену, его обдало уличной прохладой, хлопнула дверца, и кто-то невидимый дал указания водителю, куда его доставить. Витрины, окна, светофоры, лица поехали прочь от него, он закрыл глаза.

Ступив на тротуар у гостиницы, осмотрелся. Впервые с момента его появления в этом городе никто не сопровождал его. Он застегнул пиджак, бабочки не было, шарф тоже куда-то подевался, но это уже не беспокоило его. Он хотел побыть один, разобраться, что с ним случилось, как его так понесло, и откуда взялись эти миллионы.

«Главное – выяснить, не подмешала ли эта афганская аферистка чего-то в свою траву, – думал он, поднимаясь в номер. – Кому нужны такие неожиданности?»

Утром он поменял билет на ближайший рейс и, рассчитавшись за номер, уехал в аэропорт.

Отправляясь на посадку, он оглянулся, увидев обычную картину: кто-то ждал своих родных, говорил в телефон, обмахивался сложенной газетой, бродил без дела по залу, спал. Жизнь продолжалась, но она уже не имела отношения к нему. Город сияющих небоскребов и пронумерованных улиц ждал его. Простой и ясный в свете зимнего солнца.

Нью-Йорк

